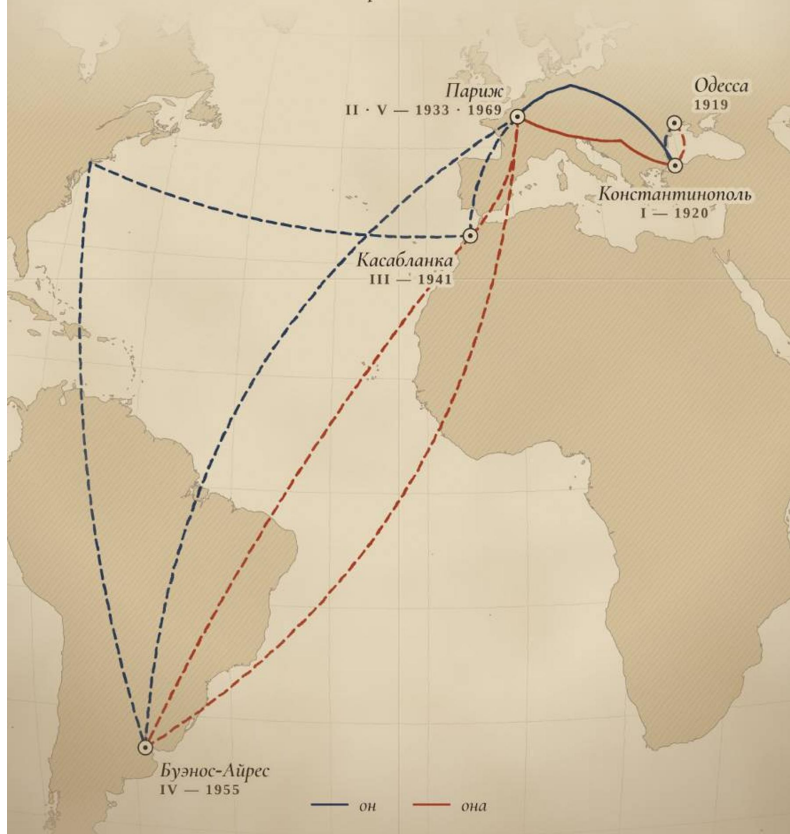


МИТРА ПАПИЛИН

Несказанное

роман



Митра Папилин

Несказанное

<https://litres.ru/74643403>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это роман о первой волне русской эмиграции, о людях без пристани, которых перевозят с места на место. И о молчании, которое бывает сильнее войн и границ: о страхе услышать отказ, о гордости, которую принимают за деликатность, о жизни, прожитой на причале.

Содержание

Пролог	4
Париж, март 1969	4
Часть первая. Отказ	7
Одесса, 1919	7
Часть вторая. Первая встреча	17
Константинополь, 1920	17
Между. Берлин — Париж, 1920–1933	29
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Несказанное

Пролог

Париж, март 1969

Мне семьдесят два года, и врач, совсем молодой, с аккуратными усиками, которые он, кажется, отрастил нарочно, чтобы выглядеть старше, сказал мне на прошлой неделе, что торопиться уже некуда, а потом смутился и поправился: торопиться, наоборот, есть куда. Я понял его в обоих смыслах и не стал сердиться, потому что он хороший мальчик и долго держал мой снимок против окна, прежде чем решился заговорить, а я тем временем разглядывал на просвет два серых крыла своих лёгких, одно из которых было наполовину съедено чем-то белым.

Вернувшись домой, я сел за стол и до вечера ничего не делал, а вечером достал из шкафа пачку бумаги, купленную ещё зимой для романа, который так и не начал, и понял, что роман этот мне больше не нужен и что нужно другое.

За свою жизнь я написал девять книг, из которых три прочли, может быть, тысячи две человек, а остальные и того меньше. Обо мне писали в «Современных записках» и в «Новом журнале», однажды даже в «Нью-Йорк таймс», где

моё имя напечатали с ошибкой; меня называли «тонким стилистом», «певцом утраты», «последним из могикан», и каждый раз мне хотелось спросить рецензента, читал ли он книгу или одно оглавление. Во всех девяти книгах жила одна и та же женщина, под разными именами и с разной судьбой, но всегда она, и ни один рецензент этого не заметил. Заметила ли она сама, я не знаю.

Я знал её пятьдесят лет и за эти пятьдесят лет, если не считать первой встречи, видел её четыре раза, всякий раз в другой части света, куда нас приносило совершенно независимо друг от друга: в Константинополе, в Париже, в Касабланке, в Буэнос-Айресе. Я никогда её не искал, и она, насколько мне известно, тоже не искала меня, а встречи наши получались как будто сами собой.

Когда мне было двадцать два года, я сказал ей, что люблю её, и она ответила «нет», после чего я не повторил этого ни разу.

Вот, собственно, и вся история, которую можно было бы уместить в одну строчку на надгробии, и, возможно, так и следовало бы поступить. Но я писатель, а писатель, как известно, не умеет коротко сказать то, что можно сказать длинно, особенно если длинное позволяет ещё немного не говорить главного.

Пишу я это не для печати и сам не знаю, для кого: может быть, для неё, а может быть, для себя самого, чтобы хоть раз напоследок сказать всё прямо и под настоящими именами.

Сорок восемь лет назад в Берлине пожилой издатель, торговавший до революции в Киеве мануфактурой, сказал мне: «Молодой человек, вы пишете так, будто боитесь, что вас поймут». Тогда я обиделся, а теперь думаю, что ничего точнее обо мне никто не говорил.

Попробую не бояться.

За окном третий день идёт дождь, и консьержка мадам Перрен уверяет, что такой весны не было с самой войны.

Часть первая. Отказ

Одесса, 1919

Я познакомился с ней весной восемнадцатого года, когда в Одессе стояли австрийцы¹ и город, переживший за одну зиму три власти, вдруг сделался сытым, нарядным и немного сумасшедшим: на Дерибасовской открывались кафе, в которых ещё месяц назад стреляли, в Городском театре давали «Травиату». Мне был двадцать один год, я считал себя по-этом и уже полгода не мог написать ни строчки, которая не казалась бы мне подражанием Блоку².

Познакомил нас Миша Розен, мой гимназический товарищ, учившийся тогда в художественном училище. Он привёл меня в мастерскую на Преображенской, где несколько учеников снимали в складчину большую комнату с окном во всю стену, и там, среди мольбертов, банок с кистями и запаха скипидара, на подоконнике сидела девушка в мужском свитере с закатанными рукавами и ела хлеб с салом, держа его над листом бумаги, чтобы не уронить крошки. Ей было де-

¹ Весной 1918 г. Одессу заняли австро-венгерские войска; они ушли в ноябре 1918 г., после поражения Центральных держав в войне.

² Александр Блок (1880–1921), крупнейший поэт русского символизма; в 1910-е ему подражали очень многие начинающие поэты.

вятнадцать. Когда Миша сказал: «Варя, это Глеб, он пишет стихи», — она посмотрела на меня, не переставая жевать, и ответила: «Сочувствую». Все засмеялись, засмеялся и я, хотя мне было обидно, и, кажется, именно в ту минуту всё и началось, если у таких вещей вообще бывает начало.

Звали её Варвара Ильинична Голубева. Отец её служил землемером в Херсонской губернии, мать умерла рано, и в Одессу из Николаева она приехала учиться живописи против воли отца, считавшего, что девушке пристало учиться на фельдшерицу. Жила она у тётки на Молдаванке³, в двух комнатах над бакалейной лавкой, и каждое утро ходила в училище пешком через весь город, потому что деньги на трамвай тратила на краски. Всё это я узнал позже, а в тот день узнал только, что у неё серые глаза, широкие ладони с короткими ногтями, под которыми навсегда застряла синяя краска, и что смеётся она, откидывая голову назад, как смеются мальчишки.

Я стал приходить в мастерскую, сначала с Мишей, потом один, приносил стихи и читал их вслух, а ученики слушали вполуха, продолжая работать, и только Варя иногда говорила что-нибудь короткое и точное, от чего мне хотелось провалиться сквозь пол. Однажды, выслушав длинное стихотворение о море, в котором было слово «лазурь» и, кажется, ещё слово «тоска», она спросила, видел ли я море. Я ответил, что,

³ Молдаванка — старый одесский район, где жили ремесленники, мелкие торговцы и беднота.

разумеется, видел, я в Одессе родился. «Тогда почему у тебя оно как с открытки?» — сказала она, и я ушёл и неделю не появлялся, а потом принёс другое стихотворение, в котором не было ни лазури, ни тоски, а была только вода у Ланжерона⁴, которая после шторма становится жёлтой и пахнет йодом и гнилыми водорослями. Она прочла его сама, не дав мне читать вслух, и сказала: «Вот. Можешь, когда хочешь». Больше она ничего не прибавила, но домой я шёл так, будто мне вручили орден.

Я пишу сейчас эти строки и вижу, как это выглядит со стороны: старик с больными лёгкими умиляется тому, что девятнадцатилетняя девушка однажды похвалила его стихи. Наверное, это смешно. Но я хочу быть честным, а честность требует признать, что потом в моей жизни было много похвал, были рецензии и премия в Нью-Йорке, был ужин, на котором Бунин, уже старый, сказал мне через стол «а вы, батенька, ничего», и всё это вместе весило меньше, чем то «вот» в мастерской на Преображенской.

Летом восемнадцатого мы ходили к морю. Она писала этюды, а я сидел рядом на камнях и делал вид, что читаю. Работала она быстро и сердито, будто спорила с морем и проигрывала спор, иногда соскабливала всё мастихином⁵ и на-

⁴ Ланжерон — пляж и мыс в Одессе, названные по имени графа А. Ф. Ланжерона, генерал-губернатора края в 1815–1822 гг.

⁵ Мастихин — тонкая гибкая лопаточка, которой художник смешивает и снимает с холста краску.

чинала сначала, и, глядя на неё, я думал, что никогда ещё не видел человека, который так целиком уходил бы в то, что делает. Сам я всегда немного смотрел на себя со стороны: вот я пишу, вот я страдаю, вот я молодой поэт у моря. Она себя со стороны не видела, её в такие минуты как будто не было вовсе, были только море и холст, и это меня одновременно восхищало и пугало, потому что я понимал, что в такие минуты для неё нет и меня.

Однажды она попросила меня посидеть неподвижно, и я сидел на камне в рубашке и закатанных брюках, а она писала меня час или больше, пока не посмотрела на холст, на меня, снова на холст и не сказала, что ничего не получается, потому что я всё время позирую. Я возразил, что сижу неподвижно, как она просила. «Вот именно, — сказала она. — Ты сидишь так, будто тебя рисуют». Тогда я её не понял. Понял я это лет через двадцать, в Париже, когда увидел её настоящие портреты, где люди были пойманы врасплох, с открытыми ртами, с недоеденным бутербродом в руке, и в каждом лице было что-то такое, чего сам человек о себе, вероятно, не знал.

Тот холст она так и не дописала, и я не знаю, что с ним стало.

Осенью восемнадцатого ушли австрийцы и пришли французы с греками⁶, в апреле девятнадцатого ушли и францу-

⁶ В декабре 1918 г. в Одессе высадились войска Антанты, в основном французские и греческие; в начале апреля 1919 г. они спешно эвакуировались.

зы, и в город вошли красные. Описывать то лето подробно я не стану: об этом достаточно написали люди, умевшие это лучше меня, да и сам я до сих пор не могу писать о нём ровно. Скажу только, что мой отец, присяжный поверенный⁷ Андрей Петрович Лунин, человек мягкий и близорукий, всю жизнь защищавший в суде мелких воров и обманутых вдов, был арестован в июне по доносу дворника, которому однажды отказался одолжить денег. Его увели ночью, мать две недели бегала по учреждениям и носила передачи, которые, как мы потом узнали, принимали и не передавали, а в конце июля ей сказали, что он «выбыл», и никто не объяснил, что это значит. В августе пришли добровольцы⁸, в газетах начали печатать списки расстрелянных, найденных в подвалах и во дворах, но отца мы не нашли ни в одном списке. Мать после этого прожила ещё полгода и умерла в январе двадцатого года, за неделю до эвакуации, от тифа, хотя я думаю, что тиф здесь был только поводом.

Всё то лето я почти не выходил из дома и не писал стихов, а сидел у окна и смотрел на улицу, по которой ходили люди с красными бантами, и думал, что каждый из них, вероятно, тоже чей-то сын и что человечество, в сущности, устроено так, что любой из нас может оказаться и тем, кого уводят ночью, и тем, кто уводит, а разница определяется не душой,

⁷ Присяжный поверенный — адвокат в дореволюционной России.

⁸ Добровольцами называли белые войска (Вооружённые силы Юга России); они заняли Одессу 23 августа 1919 г.

а случаем, дворником, neodолженными деньгами. Тогда эта мысль казалась мне очень глубокой, теперь же я вижу, что она была просто очень страшной, а глубины в ней не было никакой.

Варя приходила ко мне в то лето дважды. Первый раз она пришла в июне, сразу после ареста, и не сказала ни слова утешения, ни слова о том, что всё обойдётся, а просто села рядом на подоконник, достала из кармана яблоко, разрешила его перочинным ножом и протянула мне половину; мы ели яблоко, я плакал, а она смотрела в окно и потом ушла. Второй раз она пришла в августе, когда уже вошли добровольцы и начали печатать списки, и принесла газету. «Его тут нет, — сказала она. — Я проверила». Я спросил, зачем она это сделала, и она пожала плечами: «Чтобы ты не читал».

Я и теперь не помню, чтобы кто-нибудь был ко мне так же добр.

В сентябре я ожил, и это было странное, почти постыдное оживление, будто тело, пережившее горе, взяло своё и потребовало жизни вопреки всему, вопреки отцу, которого нигде нет, и матери, которая лежала на кровати, глядя в стену. Город снова стал белым, снова открылись кафе, где-то снова играли на рояле, а я начал писать, только уже не стихи, а прозу, короткие наброски о подвалах и о дворнике. Варя прочла их молча, сидя на ступеньках училища, и сказала, что это лучше стихов, а когда я спросил почему, подумала и ответила: «В стихах ты красивый. А тут ты настоящий. Тебе

это идёт больше».

Там, на ступеньках, я и решил ей сказать, и потом целую неделю ходил с этим решением, никак не умея выбрать день.

Был конец сентября, двадцать восьмое число. Дату я помню потому, что много лет подряд двадцать восьмого сентября со мной что-нибудь случалось или мне казалось, что случалось: я опоздал на поезд в Берлине, сломал руку в Париже, получил в Нью-Йорке письмо из иммиграционной службы. В приметы я не верю, но этот день не люблю.

Мы поехали на Большой Фонтан⁹, где она хотела писать закат у монастыря, там, где обрыв спускается к воде, и я напросился нести этюдник. Писала она долго; солнце уже ушло ей за спину, море из голубого стало серым, потом сиреневым, потом почти чёрным, а она всё торопилась и вполголоса ругала краску и свет, пока не бросила кисть в банку, сказав, что ничего не вышло. Я ответил, что вышло, и она сказала, что я ничего не понимаю в живописи, и это была правда.

Мы сели на обрыве. Внизу шумела вода, было холодно, и она натянула рукава свитера на ладони, как делала всегда, когда мёрзла, и тогда я начал говорить.

Что именно я говорил, я не помню. Помню только, что говорил долго и плохо, начинал издалека, с весны, с мастерской, с её «сочувствую», и в какой-то момент услышал, что говорю как в своих плохих стихах, красиво и мимо, остано-

⁹ Большой Фонтан — приморская местность на юге Одессы, где над обрывом стоит Свято-Успенский монастырь.

вился и сказал просто: «Варя, я тебя люблю».

Она долго не отвечала. Я смотрел на море, потому что смотреть на неё было невозможно, и видел, как внизу у камней рыбаки жгут костёр и огонёк дрожит на воде, то вытягиваясь, то сжимаясь.

Потом она сказала: «Нет», — и больше ничего не прибавила, хотя я ждал.

Я спросил почему.

«Потому что ты меня не видишь, Глеб, — сказала она. — Ты видишь то, что про меня напишешь».

Мне хотелось возразить, сказать, что это неправда, что я вижу её, её руки с синей краской под ногтями, её смех, что я вижу всё. Но я промолчал, потому что в ту же секунду поймал себя на мысли, что фраза «ты видишь то, что про меня напишешь» очень хороша и что её надо запомнить. Я её запомнил. Она есть в моём первом романе, её говорит героиня по имени Надя, и рецензент из «Последних новостей»¹⁰ отметил её как «удачную реплику».

Таким я был в двадцать два года, и потом, боюсь, не слишком изменился.

Мы молча собрали этюдник и пошли к трамваю. Всю дорогу она сидела у окна, а я стоял рядом, держась за поручень, и на Куликовом поле¹¹ она сошла, коротко попрощавшись,

¹⁰ «Последние новости» (Париж, 1920–1940) — самая читаемая ежедневная газета эмиграции; редактор П. Н. Милюков.

¹¹ Куликово поле — большая площадь в Одессе возле железнодорожного вок-

а я поехал дальше, хотя мне надо было выходить там же.

После этого мы виделись ещё несколько раз, в мастерской, на улице, однажды в очереди за хлебом, и оба держались так, будто ничего не произошло, и делали это так хорошо, что к декабрю я и сам почти поверил, что ничего не было. Только когда она смеялась при мне, откидывая голову назад, у меня внутри что-то обрывалось, и я отворачивался.

В январе двадцатого года умерла мать, и я похоронил её на Втором христианском кладбище, рядом с пустым местом, которое она когда-то купила для отца. Варя пришла на похороны, но стояла поодаль, в чужом пальто не по росту, и так ко мне и не подошла, а когда я обернулся, её уже не было.

В конце января красные подошли к городу и началась эвакуация. Порт был забит людьми, на пароходы брали тех, у кого были деньги, связи или оружие, а у меня не было ничего, кроме отцовского золотого брегета¹², который мать спрятала в подкладку шубы и который я нашёл, разбирая её вещи. Я отдал его помощнику капитана греческого грузового парохода «Афродита», и тот пустил меня в трюм, где уже сидело человек триста.

Седьмого февраля «Афродита» отошла¹³ от причала. Я выбрался на палубу подышать и смотрел, как уходят маяк,

зала.

¹² Брегет — карманные часы; название пошло от часовщика Авраама-Луи Бреге.

¹³ Красная армия вошла в Одессу 7–8 февраля 1920 г. Эвакуация белых шла в панике, и многие не успели попасть на суда.

лестница и белые дома над обрывом, а за городом, со стороны Пересыпи¹⁴, стреляли, и вокруг кто-то плакал, кто-то молился, и одна старуха всё повторяла: «Мы вернёмся, мы же вернёмся к Пасхе», — и никто ей не отвечал.

Я не знал, где Варя, уехала она или осталась, и не стал узнавать, хотя мог бы пойти на Молдаванку, к тётке, в бакалейную лавку: между похоронами матери и пароходом у меня было целых три дня. Я говорил себе, что ей не до меня, что её «нет» не нуждается в продолжении и что навязываться я не вправе, и всё это было правдой, но правдой, за которой я прятал простую вещь: я боялся услышать «нет» ещё раз.

Впереди было море, а позади город с двумя могилами, одна из которых была пустой.

Через три месяца я увидел её снова, в Константинополе.

¹⁴ Пересыпь — промышленный район на северной окраине Одессы.

Часть вторая. Первая встреча

Константинополь, 1920

Константинополь весной двадцатого года походил на вокзал, где отменили все поезда, а пассажиры продолжают ждать, потому что идти им больше некуда. В Пере, на Гранд-рю¹⁵, по которой ещё недавно гуляли левантийские купцы и посольские жёны, теперь стояли русские: офицеры в шинелях без погон продавали с рук ордена, барышни из хороших семей торговали пирожками и цветами, генералы служили швейцарами в ресторанах, где обедали английские лейтенанты. Русская речь слышалась на каждом углу, и это было хуже, чем если бы её не было вовсе, потому что в этом чужом, жарком, пахнущем рыбой и кофе городе она звучала как доказательство того, что всё действительно кончилось.

Жил я в ночлежке в Галате¹⁶, у спуска к мосту, в комнате, где на полу спали двенадцать человек, а днём работал носильщиком в порту, таскал с английских транспортов ящики и мешки с мукой и однажды разгружал рояль, который какой-то полковник умудрился вывезти из Новороссийска и

¹⁵ Пера — европейский квартал Константинополя на северном берегу Золотого Рога (ныне Бейоглу); Гранд-рю де Пера — его главная улица (ныне Истикляль).

¹⁶ Галата — портовый квартал у Золотого Рога, у подножия Перы.

теперь не знал, куда деть. Платили мало, а иногда и вовсе не платили. По вечерам я ходил в русскую столовую на Тепебаши¹⁷, где за пять пиастров¹⁸ давали миску чечевичного супа и кусок хлеба, и это был мой единственный обед.

Я так исхудал, что на мне болталась отцовская рубашка, которую я не снимал с февраля, и меня мучил кашель, который никак не проходил. Писать я не мог, да и не хотел; горя я почти не чувствовал, было только ровное серое равнодушие, с которым я просыпался, шёл в порт, таскал ящики, ужинал в столовой, возвращался в ночлежку и засыпал, изо дня в день, изо дня в день. Иногда мне казалось, что, если бы меня спросили, жив ли я, я не знал бы, что ответить.

В середине мая я пошёл в посольство¹⁹. Огромное здание за чугунной оградой на Гранд-рю было тогда чем-то вроде главной площади эмиграции: во дворе с утра до вечера толпились люди, получавшие справки и искавшие работу и родных, а на стене у ворот висели сотни приколотых кнопками листков, исписанных разными почерками. «Ищу жену, Анну Петровну Сомову, урождённую Лаврову, эвакуировалась из Новороссийска в марте». «Кто знает что-либо о судьбе капитана 2-го ранга Ведерникова, сообщите». «Мама, я

¹⁷ Тепебаши — квартал в Пере.

¹⁸ Пиастр (куруш) — мелкая турецкая монета, сотая часть лиры.

¹⁹ Здание бывшего посольства Российской империи на Гранд-рю де Пера; в 1920–1921 гг. там работали учреждения, помогавшие беженцам.

на Халки²⁰, в лагере, барак 4. Коля». Люди часами стояли перед этой стеной, читая и перечитывая. Я пришёл туда без всякой цели, потому что искать мне было некого, и хотел только постоять среди тех, кто кого-то ищет, потому что это было похоже на жизнь.

Она стояла у стены и читала. Я узнал её со спины, по тому, как она чуть наклоняла голову набок, и по рукавам, натянутым на ладони, хотя было жарко; на ней было серое платье явно с чужого плеча и соломенная шляпа с обтрёпанными полями, и она была очень худая.

Может быть, минуту я стоял и смотрел на неё, пока она не обернулась, будто почувствовав взгляд, и не увидела меня.

Я ждал, что она удивится или бросится навстречу, как в романах, но она ничего такого не сделала, а долго смотрела на меня, и лицо её не менялось, менялись только глаза. Потом она подошла и сказала: «Ты похудел». — «Ты тоже», — ответил я. «Я знаю», — сказала она, и мы оба засмеялись впервые за много месяцев, а люди у стены посмотрели на нас с осуждением, потому что здесь не смеялись.

Приехала она на два месяца позже меня, в апреле, из Новороссийска, куда они с тёткой бежали в феврале, когда красные взяли Одессу. Тётка умерла на Лемносе²¹, в ла-

²⁰ Халки (ныне Хейбелиада) — один из Принцевых островов; в 1920 г. там были лагерь русских беженцев.

²¹ На греческий остров Лемнос весной 1920 г. отправляли беженцев из Новороссийска, а позже казачьи части армии Врангеля. От болезней там умерли многие.

гере, от дизентерии, и Варя осталась одна. Жила она в Пере, в мансарде над греческой кондитерской, с двумя сёстрами-курсистками из Харькова, и зарабатывала тем, что рисовала портреты в кафе на Гранд-рю: английские и французские моряки, американцы с миноносцев, итальянские carabinieri садились к ней за столик, и за двадцать минут она делала карандашный набросок, за который брала лиру, а если клиент был пьян и щедр, то и две. «Они все хотят выглядеть мужественными, — сказала она. — Я рисую им подбородок побольше, и они счастливы. Это не живопись, это торговля подбородками».

Я спросил, кого она ищет на стене. «Никого, — сказала она. — Я смотрю, не ищет ли кто-нибудь меня». Никто её не искал.

Мы провели вместе две недели, и это было самое счастливое время в моей жизни; я говорю это, прожив после него почти пятьдесят лет, в которых были и брак, и сытость. Мы были голодны и бездомны, у нас не было ни родины, ни даже уверенности, что завтра будет на что купить хлеба, и всё-таки мы были счастливы. Объяснить этого я не умею. Может быть, когда у человека отнимают всё, остаётся что-то совсем небольшое, чего отнять нельзя, и только тогда видно, что оно и было главным.

Днём я работал в порту, а она рисовала в кафе, и вечером мы встречались на мосту через Золотой Рог²², там, где ры-

²² Золотой Рог — залив Босфора, отделяющий старый Стамбул от Галаты и

баки жарили на жаровнях скумбрию и за несколько пиастров продавали её завёрнутой в лепёшку. Мы покупали одну рыбу на двоих и шли по мосту, отламывая куски и глядя, как над Стамбулом, над минаретами Сулеймание²³, садится огромное красное солнце и город становится плоским, вырезанным из чёрной бумаги, как силуэты, которые делал на ярмарках один старик в Одессе. Потом мы поднимались в Перу по крутым улочкам и лестницам, мимо домов с деревянными эркерами, откуда пахло жареным луком и розовым маслом, и сидели где-нибудь на ступеньках, пока совсем не темнело.

Говорили мы обо всём: об Одессе, о мастерской, о Мише Розене, который, как она слышала, уехал в Берлин, о живописи, о книгах, о том, что будет. Она хотела в Париж, потому что там, говорила она, настоящая живопись, там Матисс и Пикассо и всё можно увидеть своими глазами, а не по журнальным репродукциям. Сам я не знал, чего хочу. Когда я сказал ей, что больше не пишу, она посмотрела на меня так, будто я сказал, что больше не дышу, и уверенно ответила, что это пройдёт. Я спросил, откуда она знает. «Потому что ты не можешь не писать, — сказала она. — Ты даже сейчас пишешь, я вижу: смотришь на этот мост и думаешь, какими словами его описать». Это была правда, я смутился, а она

Перы.

²³ Сулеймание — мечеть султана Сулеймана Великолепного, построенная архитектором Синаном в середине XVI в.

засмеялась.

О Большом Фонтане мы не заговорили ни разу, будто того вечера не было и мы встретились впервые, два одессита в чужом городе, давние знакомые, почти друзья, между которыми не лежит никакого «нет». Я не знаю, кто первым начал так себя вести; наверное, оба, потому что оба боялись спугнуть то, что между нами появилось, и поэтому о главном молчали.

Думал я об этом каждую ночь, лёжа на полу в ночлежке среди храпа и кашля одиннадцати чужих людей. Надо сказать, думал я, завтра же и скажу: она изменилась, она смотрит на меня по-другому, сама приходит на мост, сама ждёт, сама берёт меня под руку на крутых лестницах, и сейчас она не сказала бы «нет». Или сказала бы? И тут же я пугался, что опять всё испорчу, что она уйдёт и я останусь в этом городе один, с ящиками и чечевичным супом, без моста, без скумбрии и без ступенек, и решал, что лучше иметь это недосказанным, чем не иметь вовсе. Каждую ночь я выбирал молчание, каждое утро просыпался с ненавистью к себе, а вечером снова шёл на мост и снова молчал.

На десятый или одиннадцатый день у меня был выходной, потому что в порту не было пароходов, и мы поехали на Принцевы острова²⁴²⁴, где она хотела писать море и сосны на Принкипо. Маленький пароходик был набит русскими, по-

²⁴ Принцевы острова — архипелаг в Мраморном море близ Константинополя; Принкипо (ныне Бююкада) — самый большой из них.

тому что на островах стояли лагеря беженцев и многие ехали навестить родных, и Варя всю дорогу рисовала в альбоме лица попутчиков. Я смотрел через её плечо и видел, как из пары линий возникают люди: генеральша с поджатыми губами, мальчик-кадет с торчащими из-под фуражки ушами, старик-священник, спящий с открытым ртом. «Видишь, — сказала она, — вот так и надо. Пока они не знают, что их рисуют».

На острове мы поднялись по тропинке к монастырю на вершине холма. Было жарко, пахло хвоей и нагретым камнем, внизу во все стороны лежало синее море, и вдалеке, в дымке, едва виднелся азиатский берег. Варя поставила этюдник и стала писать, а я лёг в тени сосны и впервые за три месяца почувствовал, как отпускает что-то сжатое в груди, закрыл глаза и уснул.

Проснулся я, когда солнце уже садилось, и увидел, что Варя сидит рядом на земле и смотрит на меня, держа на коленях альбом.

«Ты спал два часа», — сказала она.

«Ты меня рисовала?»

«Да».

Я попросил посмотреть, но она закрыла альбом и сказала: «Потом».

Мы сидели под сосной и смотрели на море. Было так тихо, что слышался колокол на монастырской звоннице, звонивший редко, с большими промежутками, и звук уходил дале-

ко над водой. И тут она, не глядя на меня, спросила:

«Глеб, а ты когда-нибудь думал, что было бы, если бы мы остались в Одессе?»

Я понял, о чём она спрашивает, так ясно, как если бы она сказала это прямо: она спрашивала о Большом Фонтане, о том вечере и о том «нет», она давала мне возможность ответить, и ответить можно было одной фразой.

«Нас бы расстреляли, наверное», — сказал я.

Она помолчала, повторила: «Наверное», — встала и начала собирать этюдник.

Много раз потом я прокручивал в голове эту сцену, как прокручивают назад киноплёнку, кадр за кадром. Я знаю, что надо было сказать, и знал это уже тогда, через секунду после того, как сказал про расстрел, но было поздно: она уже складывала треногу и убирала кисти, и в её движениях было что-то такое ровное и аккуратное, что мне стало ясно, что больше она не спросит.

Почему я так ответил? Я задавал себе этот вопрос сотни раз и думаю, что это была обычная трусость, которая прикидывается остроумием. Мне показалось, что, если я отвечу серьёзно, отвечать придётся до конца, а до конца я боялся, и проще было пошутить и спрятаться за шутку, что я и сделал, как потом всю жизнь прятался за шутками и за чужими именами.

Обратно мы плыли молча: она смотрела на воду, я смотрел на неё. На причале в Галате она сказала, что устала, и

пошла домой одна.

Через три дня всё решилось без меня.

В посольстве мне передали записку от Миши Розена, моего гимназического товарища, который каким-то чудом узнал, что я в Константинополе, и писал мне из Берлина. Он служил в русском издательстве, открытом каким-то киевским коммерсантом, издательству нужны были корректоры и переводчики, платили немного, но платили, и Миша обещал выхлопотать мне визу и прислать денег на дорогу. «Здесь можно жить, — писал он. — Здесь печатают. Здесь сто тысяч русских, и все читают. Приезжай».

В тот же день на мосту Варя сказала, что уезжает в Белград: там организовали помощь русским художникам, королевство давало стипендии²⁵ и место в общежитии, можно было учиться и работать, а записала её туда одна дама из Красного Креста, видевшая её рисунки. Пароход до Салоник уходил в следующий вторник.

Мы стояли на мосту с одной рыбой на двоих и говорили о Берлине и Белграде так, будто это хорошие новости, радовались друг за друга, говорили, что это удача, что многие тут годами ждут, и всё это было правдой. А я смотрел на неё и думал: скажи сейчас, скажи ей, чтобы она не ехала в Белград, а ехала с тобой в Берлин, где тоже есть художники и тоже можно учиться, или скажи, что поедешь с ней в Белград, к

²⁵ Королевство сербов, хорватов и словенцев, позднее Югославия, приняло десятки тысяч русских эмигрантов и помогало им с работой и учёбой.

чёрту Мишу и его издательство, скажи хоть что-нибудь.

Я ничего не сказал.

Она тоже ничего не сказала, и тогда я решил, что ей нечего сказать, что она рада уехать и что две недели на мосту были для неё просто передышкой, приятной встречей со старым знакомым в чужом городе, ничего не значащей. Так я думал тогда и ещё много лет потом.

Во вторник я пришёл в порт. Пароход до Салоник, грязное итальянское судно с ржавыми бортами, стоял у причала в Галате, по сходням поднимались люди с узлами и чемоданами, а Варя стояла внизу с маленьким саквояжем и этюдником через плечо и, увидев меня, улыбнулась.

Мы стояли рядом и молчали, пока пароход давал первый гудок и второй и люди вокруг прощались.

Тогда она открыла саквояж, достала сложенный вчетверо лист бумаги и протянула мне, сказав, чтобы я посмотрел потом.

Я сунул лист в карман, не разворачивая, хотел что-то сказать, открыл рот и сказал:

«Напиши мне».

«Куда?» — спросила она.

Адреса у меня не было, потому что я не знал, где буду жить в Берлине, и у неё тоже не было, потому что она не знала, где будет жить в Белграде.

«Напиши Мише в издательство», — сказал я и назвал адрес из записки, и она кивнула и повторила его вслух, будто

запоминая.

На третьем гудке она взяла этюдник и саквояж и пошла к сходням, а на второй ступеньке обернулась и посмотрела на меня так же, как тогда, у стены в посольстве, когда узнала меня. Мне показалось, что она хочет что-то сказать, её губы шевельнулись, но вокруг кричали люди, гудел пароход, и я ничего не услышал, а она повернулась, поднялась на палубу, и её закрыла толпа.

Я стоял на причале, пока пароход не скрылся за мысом Сарайбурну²⁶, и только тогда развернул лист.

Это был карандашный рисунок: я, спящий под сосной на Принкипо, с головой, откинутой на корень, с приоткрытым ртом и рукой на груди. Лицо было худое, измученное и какое-то совсем детское; таким я себя никогда не видел и не знал, что могу таким быть. В углу листа её почерком было написано: «Вот. Наконец-то не позируешь».

Больше там не было ничего, ни слова о мосте, о двух неделях, о Большом Фонтане, ни «люблю», ни «прощай», ни «жди».

Этот рисунок я храню до сих пор. Он висит над моим столом, в рамке, под стеклом, которое за пятьдесят лет пожелтело, и я смотрю на него, пока пишу эти строки. Мальчик под сосной спит и ничего не знает. Ему двадцать три года, и он думает, что впереди у него вся жизнь и что он успеет.

²⁶ Сарайбурну — мыс у слияния Босфора и Золотого Рога, где стоит дворец Топкапы.

Варя не написала Мише, или написала, но письмо не дошло, или дошло, но Миша забыл его передать; я так и не узнал. Я несколько раз спрашивал Мишу, и он клялся, что никаких писем не было, а я верил ему и не верил.

Сам я ей тоже не написал, хотя мог бы написать в Белград, в русский Красный Крест, в общежитие для художников, в любое учреждение, которое собирало сведения о беженцах: такие письма доходили, их пересылали и передавали из рук в руки. Я говорил себе, что она уехала, не оставив адреса, и, значит, не хотела, чтобы я писал, что рисунок был прощанием и что «наконец-то не позируешь» значило: хватит, теперь ты настоящий, иди и живи, а меня оставь.

Через месяц я уехал в Берлин.

Между. Берлин — Париж, 1920–1933

О Берлине писали многие, и почти все одно и то же: Шарлоттенбург, который немцы прозвали Шарлоттенградом²⁷, русские кафе на Ноллендорфплац, десятки издательств, газеты, выходившие по три в день и ругавшие друг друга, поэты, читавшие стихи в прокуренных залах, белые, красные, сменовеховцы²⁸, евразийцы²⁹, все вперемиш, все в одном городе и все уверенные, что через год-другой вернутся. Повторять этого я не буду и скажу только, что Берлин стал для меня городом, где я снова начал писать, и городом, где я впервые понял, что писать, может быть, бессмысленно.

Миша встретил меня на вокзале Фридрихштрассе в новом пальто и с тростью. Он растолстел, отпустил усы и называл издательство «наша фирма», а фирма помещалась в двух комнатах на Курфюрстенштрассе и издавала всё подряд: Пушкина без ятей³⁰ и Лермонтова с ятями, мемуары

²⁷ В начале 1920-х в районе Шарлоттенбург жило столько русских, что берлинцы шутя прозвали его Шарлоттенградом.

²⁸ Сменовеховцы — эмигранты, призывавшие примириться с советской властью; название — по сборнику «Смена вех» (Прага, 1921).

²⁹ Евразийцы — эмигрантское течение 1920-х гг., считавшее Россию особым миром между Европой и Азией.

³⁰ Ять — буква старой русской орфографии, упразднённой реформой 1917–

генералов, сонники, самоучители немецкого языка и сборники стихов за счёт авторов. Я стал корректором, с утра до ночи сидел над гранками, вылавливая опечатки в чужих текстах, и получал за это столько, что хватало на комнату у вдовы прусского чиновника на Пассауэрштрассе и на обед через день.

Писать я начал в первую же зиму, сначала рассказы, про Одессу и про отца, про Константинополь и мост. Два из них Миша напечатал в альманахе, который фирма выпускала раз в полгода, и я впервые увидел своё имя набранным типографским шрифтом, купил десять экземпляров, девять раздал, а последний хотел отправить в Белград, но не знал куда.

О Варе я спросил Мишу в первый же вечер, и он ответил, что никаких писем не было, и через месяц, и через год ответ был тот же.

В двадцать втором году художник, приехавший из Сербии, рассказал мне, что Голубева ещё в прошлом году уехала из Белграда в Париж. Он знал её мельком, видел её работы на выставке русских художников и сказал, что работы хорошие, «злые», как он выразился, и что она, кажется, нашла в Париже какую-то мастерскую, но больше ничего не знал. Я мог бы поехать в Париж, из Берлина это было не так уж сложно, многие ездили, но я не поехал, говоря себе, что у меня нет ни денег, ни визы, что я даже не знаю, где её искать,

и что Париж огромен. Всё это было правдой.

Я вообще заметил, что самые удобные отговорки в моей жизни всегда были правдой. Ложь требует усилия, её нужно придумывать и помнить, а правда лежит под рукой, и ею очень удобно заслоняться от того, что на самом деле нужно было сделать.

Была у меня в Берлине женщина. Звали её Лида, она пела в хоре русского ресторана на Тауэнциенштрассе, у неё был низкий голос и маленький сын, оставленный у матери в Ревеле³¹. Мы прожили вместе почти год; она была добрая и весёлая, умела из ничего приготовить обед на троих и никогда ни о чём меня не спрашивала, пока однажды ночью, глядя в потолок, не сказала: «Ты со мной разговариваешь, а сам всё время смотришь куда-то за меня». Я ответил, что это неправда, а она засмеялась, не обидно, и сказала: «Глебушка, я же не дура». Через неделю она уехала к сыну в Ревель, и я её не удерживал. Мне до сих пор перед ней стыдно.

В двадцать третьем году рухнула марка³². Утром батон стоил тысячу марок, вечером миллион, зарплату выдавали дважды в день, и люди бежали с ней в лавки, пока она не превратилась в бумагу. Я видел, как старуха на Виттенбергплац продавала шубу за мешок картошки и как почтенный седой господин в котелке и с портфелем рылся в мусорном

³¹ Ревель — старое название Таллина.

³² Гиперинфляция 1923 г. в Германии: к ноябрю за доллар давали больше четырёх триллионов марок.

баке у ресторана. Русский Берлин быстро пустел, издательства закрывались одно за другим: кто мог, уезжал в Париж, кто не мог, возвращался в Россию, а кто не мог ни того, ни другого, просто исчезал, и о нём больше никто не слышал.

Мишина фирма продержалась до весны двадцать четвёртого, когда киевский коммерсант сбежал с остатками денег в Аргентину, оставив Мишу с пачкой неоплаченных счетов и складом нераспроданных сонников. Миша уехал в Палестину, к дяде, который разводил там апельсины, и на вокзале, прощаясь, сказал: «Глеб, ты пиши. Ты единственный из нас, кто умеет». Я возразил, что все мы что-нибудь умеем. «Нет, — сказал он. — Я умею продавать сонники. Это не то». Больше я его не видел, а в сорок восьмом году узнал, что он погиб под Латруном³³.

В двадцать пятом году я переехал в Париж.

О следующих годах я буду краток, потому что они были похожи один на другой. Я жил в Пасси³⁴, потом в пятнадцатом округе, потом в Бийанкуре³⁵, где снимал комнату под самой крышей в доме, населённом русскими рабочими с заводов Рено, и сам два года простоял на конвейере у Рено, закручивая гайки на колёсах, по восемь часов в день,

³³ Бои за Латрун на дороге в Иерусалим шли в мае–июле 1948 г., во время первой арабо-израильской войны.

³⁴ Пасси — район на западе Парижа, где в 1920-е селились многие русские эмигранты.

³⁵ Бийанкур — пригород Парижа с заводами Рено; в 1920–30-е годы там жили тысячи русских рабочих, многие из них бывшие офицеры.

шесть дней в неделю. Гайка, ключ, поворот, следующее колесо. Гайка, ключ, поворот. Однажды я подсчитал, что за смену закручиваю около четырёх тысяч гаек, что за тридцать лет их наберётся миллионов тридцать семь и что после моей смерти ни одна из них не будет знать, что её закрутил я. Мысль эта показалась мне смешной и страшной одновременно, я записал её в тетрадь, и потом она вошла в мой второй роман.

По вечерам я писал за столом у окна, из которого виднелись крыша соседнего дома и кусок серого неба, писал до двух, до трёх часов ночи, засыпал на несколько часов и шёл на завод. Я писал роман, который рос медленно, много раз переписывался, разваливался и собирался снова, роман об Одессе последнего года перед эвакуацией, о молодом человеке, сыне адвоката, и о девушке-художнице по имени Надя.

Я не скрывал от себя, кто такая Надя. Я отдавал ей Варины руки с синей краской под ногтями, Варины серые глаза, Варин смех, Варины слова, «сочувствую» и «ты видишь то, что про меня напишешь», и писал её с такой подробностью, с какой, вероятно, никогда не смотрел на живую Варю. Я придумывал ей мысли, которых не знал, и чувства, о которых не мог знать, и, придумывая, начинал верить, что так оно и было: что она любила меня тогда, на Фонтане, и сказала «нет» из гордости или из страха, что потом, на мосту в Константинополе, ждала, что я скажу. Мне это нравилось, и это было, в сущности, нечестно, потому что на бумаге я делал с ней то, на что ни разу не решился в жизни: говорил за неё.

В романе Надя оставалась в Одессе, а герой уезжал, и в последней главе стоял на палубе, глядя, как уходит город. Эту главу я переписывал одиннадцать раз.

Роман назывался «Соляной берег». В двадцать девятом году я отправил его в «Современные записки»³⁶, и через восемь месяцев мне ответили, что роман принят и будет печататься в трёх номерах, начиная с тридцать первого года. Письмо я получил утром, перед сменой, прочёл его на лестнице, пошёл на завод, закрутил свои четыре тысячи гаек и ни одному человеку ничего не сказал, потому что сказать было некому.

Роман заметили, пусть немного. Адамович³⁷ написал в «Последних новостях», что это «вещь неровная, но подлинная» и что у автора «редкое умение передать то, что не происходит», а Ходасевич³⁸ в «Возрождении» отозвался холоднее и назвал меня «учеником Бунина, ещё не решившим, стоит ли ему выходить из класса». Меня стали приглашать на литературные вечера; я читал на собраниях «Зелёной лампы» у Мережковских³⁹, сидел в «Селекте» и в «Ро-

³⁶ «Современные записки» (Париж, 1920–1940) — главный литературный журнал русской эмиграции.

³⁷ Георгий Адамович (1892–1972) — поэт и самый влиятельный критик эмиграции; печатался в «Последних новостях».

³⁸ Владислав Ходасевич (1886–1939) — поэт и критик; вёл литературный отдел в парижской газете «Возрождение».

³⁹ «Зелёная лампа» — литературное общество, которое Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус собирали в Париже в 1927–1939 гг.

тонде»⁴⁰ с молодыми поэтами, которые потом назвали себя «незамеченным поколением»⁴¹, и слушал, как они спорят, есть ли смысл писать по-русски, если через двадцать лет по-русски в Париже никто не будет читать. С завода я ушёл и стал зарабатывать корректурой, переводами и редкими гонограммами, так что денег стало меньше, зато появилось время.

А вместе со временем пришло то, о чём я раньше только догадывался и что назову кризисом, хотя слово это слишком медицинское и слишком модное: ощущение, что всё, что мы делаем, мы делаем в пустоте. Мы, русские в Париже, писали книги, которые читали такие же русские в Париже, спорили о них друг с другом и печатали друг на друга рецензии, создавая литературу, которой нет, для страны, которой нет, для читателя, которого нет. Настоящий мир, французский или американский, не знал о нашем существовании и не хотел знать, а настоящая Россия вычеркнула нас и объявила бывшими людьми. Мы были пустым множеством, нас не было ни там, ни здесь.

⁴⁰ «Селект» и «Ротонда» — кафе на Монпарнасе, где собирались художники и эмигрантские поэты.

⁴¹ Выражение из книги В. Варшавского «Незамеченное поколение» (1956) о младших писателях эмиграции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.